ВИРДЖИНИЯ

VIRGINIA WOOLF

Ann V. Woolf

ВУЛФ

СТРУННЫЙ КВАРТЕТ И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ



Струнный квартет и другие рассказы

Вирджиния Вулф

Аннотация
Вирджиния Вулф. Струнный квартет и другие рассказы
Струнный квартет
Новое платье
Фазанья охота
Итог

Аннотация

Благодаря своим авангардным романам Вирджиния Вулф является одной из самых заметных фигур литературного модернизма наряду с такими авторами, как Джеймс Джойс и Марсель Пруст. Но нигде экспериментальный стиль Вулф не проявляется так мастерски и ярко, как в ее рассказах, избранные из которых представлены в этом сборнике.

В сборник вошли рассказы:

- «Струнный квартет»
- «Новое платье»
- «Фазанья охота»
- «Итог»

Вирджиния Вулф
Струнный квартет и другие рассказы

Virginia Woolf
«THE STRING QUARTET»
© перевод с английского Е. Суриц
© ИП Воробьёв В.А.
© ООО ИД «СОЮЗ»

Струнный квартет

Ну вот мы и собрались, и стоит вам окинуть взглядом зал, вы сразу убедитесь, что метро и трамваи, а отчасти и собственные экипажи, даже, смею думать, запряженные рысаками ландо из конца в конец прошивали для этого Лондон. И все же меня вдруг одолевает сомненье…

Если и в самом деле правда, как тут говорят, что по Риджентс-стрит закрыт проезд, и подписан мир, и не так уж холодно для такого времени года, и за такую цену и то не снимешь квартиру, и в гриппе самое опасное — осложнения; если я спохватываюсь, что забыла написать насчет течи в леднике и посеяла перчатку в поезде; если кровные корни вынуждают меня истово трясти руку, протянутую, быть может, не без колебаний…

— Семь лет не видеться!

— С самой Венеции.

— И где же вы теперь обретаетесь?

— Что ж, вечером мне вполне удобно, хотя, может быть, это слишком нагло с моей стороны…

— Но вы нисколько не переменились!

— Что ни говори, война есть война…

Если разум пробивают такие легкие стрелы и — по законам человеческого общежития — едва выпущена одна, уже наготове другая; если из-за этого кидает в жар, и вдобавок полыхает электричество; если чуть не каждое слово тянет, как водится, поправки, расшаркиванья и оговорки, расшевеливает желания, амбиции и тоску, — если все так, и плывут на поверхность шляпки, боа, фраки и жемчуг на галстуках, — неужто же мыслимо?

Что именно? В том-то и закавыка, что с каждой минутой труднее сказать, отчего, вопреки всему, я тут сижу, не умея даже припомнить, что именно и когда в последний раз это испытано мной.

— Процессию видели?

— Король, кажется, замерз.

Нет, нет и нет. Да, но что именно?

— Она дом купила в Мамзбери.

— Можно ее поздравить.

Мне же, напротив, совершенно очевидно сдается, что ее, кто она ни на есть, можно послать с легким сердцем к чертям, со всеми квартирами, шляпками, чайками, и так, быть может, сдается сотне дам и господ, которые тут сидят, парадные, защищенные оградой мехов, жемчугов и довольства. Ну а я-то сама тоже мирно сижу в золоченом

кресле и раскапываю погребенное прошлое, как все, ибо, судя по неким знакам, все мы, если я не обманываюсь, что-то силимся вспомнить, что-то исподволь ищем. И к чему суетиться? Беспокоиться о покрое костюма? О перчатках — застегнуть или нет? И вглядываться в это пожилое лицо на темном фоне картины: лишь минуту назад оно было оживленное, светское, а сейчас вот печальное, замкнутое, словно подернулось тенью. За стеной настраивают вторую скрипку — не правда ли? Выходят; четыре черные фигуры, с инструментами, усаживаются подле белых квадратов под световой ливень; покоят смычки на пюпитрах; дружный взмах, трепетанье, и, глядя на музыканта напротив, первая скрипка отсчитывает — и раз, и два, и три…

Вихрь, шквал, напор, взрыв! Грушевое дерево наверху горы. Бьют фонтаны; сыплются капли. А волны Роны мчат глубоко и полно, летят под мостами, разметывая пряди водорослей, полощут тени над рыбой, серебряной рябью бегущей ко дну, затянутой — это трудное место, — засасываемой водоворотом; плеск, брызги, ранят воду острые плавники: поток дымится, кипит, сбивает желтую гальку, крутит, крутит, вот отпустил, падает, падает, вниз, вниз, но нет, взвивается кверху

нежной спиралькой; тонкой стружкой, как из-под аэроплана; выше, выше… Сто раз прекрасны добрые, веселыми шагами, с улыбкой идущие по земле; и шалые, бывалые рыбачки, присевшие под мостками, греховодницы, как дивно гогочут они, и галдят, и ступают враскачку, враскачку… аа-ах, гм, кха!

— Ранний Моцарт, конечно…

— Да, но мелодия, как все его мелодии вообще, приводит в отчаяние, я хочу сказать, вселяет надежду… Да, так что я хочу сказать? Вот ведь ужас с этой музыкой! Тянет, знаете, танцевать, смеяться, есть пирожные, есть мороженое, пить сухое, терпкое вино. Непристойный анекдот, между нами, тоже был бы очень кстати. Чем старше делаешься, тем больше любишь непристойности. Ха-ха. Вот мне смешно. Ну отчего? Вы ведь ничего такого не сказали, да и тот старый господин… Но позвольте… Шшш!

Нас несет дальше грустная река. Луна заглянула под вислые ветви ивы, и я вижу лицо твое, я слышу твой голос, и птица поет, когда мы проходим под ветлами. Что ты шепчешь? Печаль, печаль. Радость, радость. Сплетенные, как блестящие под луной камыши. Сплетенные, неотторжимо сращенные, стянутые болью, обтянутые грустью

— тррах!

Лодка тонет. Тона распрямились, взмывают, истончаются, становятся мутным призраком, и призрак огненным острием рвет сдвоенную свою страсть из моего сердца. Для меня поет он, распечатывает мою печаль, растопляет жалость, затопляя любовью бессолнечный мир, и не сбавляет, не унимает нежности, но ловко, тонко плетет свою вязь, плетет, пока расколотые надвое не срастутся; взлет, всхлип и — покой, и печаль, и радость.

О чем же тогда грустить? И еще спрашивать — что? Еще чего-то хотеть? Все ведь улажено; да; уложено на покой под покрывалом из розовых лепестков, осыпающихся лепестков. Осыпаются. Ах нет, перестали. Один лепесток завис на немыслимой высоте, как крошечный парашютик под невидимым аэростатом, и кружит, трепещет. Ему до нас не долететь.

— Нет, нет. Я и не заметила. Вот ведь ужас с этой музыкой — дурацкие мечты. Вторая скрипка отстала, вы говорите?

— Эта старая миссис Манроу пробирается к выходу. С каждым годом хуже видит, бедняжка, а тут такой скользкий пол.

Безглазая старость, седоголовый Сфинкс… Сей-

час стоит на тротуаре, подзывает строго красный автобус.

— Как чудесно! Как дивно они играют! Как-как-как!

Язык без костей. Сама простота. Перья на соседствующей со мною шляпке пестры и приманчивы, как детская погремушка. В щели занавеса зелено вспыхивает платановый лист. До чего странно, до чего хорошо.

— Как-как-как! Шшш!

Двое влюбленных на траве.

— Если, сударыня, вы благоволите принять мою руку…

— Я бы и сердце вам вверила, сударь. Сверх того, мы оставили тела наши в пиршественной зале. Эти, на мураве, — только тени наших душ.

— Значит, это обнимаются наши души.

Лимоны и лавры кивают. Лебедь отталкивается от берега и сонно плывет на стремнину.

— И что же? Он провожал меня по коридору и на повороте наступил мне на кружевную оборку. Я вскрикнула: «Ах!» Я остановилась, нагнулась, а что мне еще оставалось? А он обнажил шпагу, сделал такой выпад, словно кого-то пронзает насквозь, крикнул: «Безумье, безумье!» — и я завизжала, а Принц, он что-то писал на перга-

менте в эркере окна, вышел в скуфейке и туфлях, отороченных мехом, сорвал со стены рапиру — дар Короля Испанского, знаете, — и тут я сбежала, накинула этот плащ, чтобы было не видно порванную юбку, и сбежала… Но тише! Охотничий рог!

Господин так проворно отвечает даме, и она так взлетает по лестнице, и так остроумно обмениваются они любезностями, что речь их разрастается до страстного вздоха, теряет слова, но смысл остается достаточно ясен — любовь, смех, бег, ловитва, благословение небес — и все это окатывает веселой волною ликующей ласки — покуда серебряный разлив валторн, сперва очень дальний, близится, близится, и словно сенешалы возвещают рассвет или возвещают о побеге влюбленных… Зеленый сад, лунный пруд и лимоны, влюбленные, рыба — все растворяется в дымчатом небе, покуда валторны, уже поддержанные трубами, подпираемые кларнетами, возводят там белые своды, прочно зиждущиеся на колоннах из мрамора… Гром победы. Лязг и звон. Прочное положение. Твердые основы. Марш миллионов. Смятенье и хаос повержены в прах. Но город, к которому мы идем, — не из камня, и он не из мрамора; висит незыблемо, стоит неко-

лебимо; и ни улыбки, ни флага навстречу. Пусть же сгинет ваша надежда; моя радость вянет в пустыне; открытое наступление. Голы колонны; безжалостны; они не отбрасывают тени; сверкают; темнеют. И я ретируюсь, я больше не хочу ничего, я только мечтаю уйти, найти свою улицу, узнавать дома, кивнуть зеленщице, сказать горничной, когда она откроет мне дверь: Какая звездная ночь.

— Доброй ночи, доброй ночи. Вам сюда?

— Увы. Мне туда.

Новое платье

У Мейбл сразу же зародилось серьезное подозрение, что что-то не так, когда миссис Барнет помогла ей разоблачиться, подала зеркало, стала перебирать щетки, привлекая ее внимание, между прочим неспроста, к разным штучкам на туалетном столике для совершенствования прически, наряда, лица, и тем самым подозрение подтвердила — что-то не так, не совсем так, и оно укреплялось, пока она шла по лестнице, и обратилось в уверенность, когда она поздоровалась с Клариссой Дэллоуэй, прошла прямо в дальний угол гостиной, где висело зеркало, и глянула. Так и есть! Все не так! И тотчас мука, которую она вечно старалась скрыть, глубокая тоска, засевшее с детства чувство, что она хуже всех, — нашло на нее неумолимо, безжалостно, с остротой, которой она не могла одолеть, как, бывало, дома, проснувшись ночью, она одолевала ее с помощью Вальтера Скотта и Борроу [*Борроу Джордж (1803–1881) — английский писатель, автор многих занимательных романов — Здесь и далее примеч. ред.*], ибо о, все эти мужчины, о,

все эти женщины, все думали: «Что это напялила Мейбл! Ну и вид! Кошмарное новое платье!» — и щурились, идя ей навстречу, и жмурились у нее за спиной. И ведь сама во всем виновата; несуразная дура; малодушная; размазня. И сразу та самая комната, где она загодя, долгими часами совещаясь с портнихой, готовилась появиться, стала мерзкой, противной; а уж собственная убогая гостиная, то, как сама она, выходя, лопаясь от тщеславия, тронула письма на столике в прихожей, сказала: «Как скучно!» — ох, до чего же все вместе было глупо, мелко, провинциально. Все рухнуло, лопнуло, разлетелось в тот самый миг, когда она вошла в гостиную миссис Дэллоуэй.

В тот вечер, когда, сидя за чаем, она получила приглашение на прием от миссис Дэллоуэй, она сразу решила, что, разумеется, не станет гнаться за модой. Даже и пыжиться нечего. Мода — это линия, силуэт, это тридцать гиней, не меньше, — и почему бы не выглядеть оригинально? Почему нельзя иметь свой стиль? И, поднявшись из-за стола, она взяла старинный модный журнал, еще мамин, парижский модный журнал времен Империи, подумала, насколько миловидней, благородней, женственней выглядели они тогда, и вздумала — вот идиотка! — быть как они,

возомнила себя скромной, несовременной, прелестной, а если честно признаться — дала волю самовлюбленности, за которую ее надо бы выпороть, и в результате — вот, вырядилась.

Она боялась себя разглядывать в зеркале. Боялась смотреть на этот кошмар — бледно-желтое, нелепо старомодное шелковое платье, длиннющая юбка, рукава с буфами, этот лиф мыском и прочие прелести, так мило выглядевшие в журнале, но не на ней, не здесь, среди по-людски одетых женщин. Чучело портняжье, в нее только булавки подмастерьям втыкать.

— Ах, милая, это очаровательно! — сказала Роза Шоу, озирая ее с ног до головы и, конечно, чуть кривя саркастически губки, — сама-то Роза, естественно, была одета по последнему крику моды, точь-в-точь как все остальные.

Все мы, как мухи, бьемся, выкарабкиваясь из блюдца, подумала Мейбл и повторяла эту фразу — так осеняют себя крестом, так ворожат, — чтоб унять боль, сделать сносным смятение. Цитаты из Шекспира, строки из книг, читанных сто лет назад, всегда вдруг всплывали в минуты смятения, и она без конца повторяла их. «Как мухи, выкарабкиваясь из блюдца», — повторяла она. Только повторять, повторять, и, если удастся воочию

увидеть мух, она станет застылой, оцепенелой, немой и холодной. Вот мухи медленно вылезают из блюдечка с молоком, у них слеплены крылышки; и она старалась, старалась (стоя у зеркала, слушая Розу Шоу) представить себе Розу Шоу, представить всех в виде мух, которые бьются, из чего-то вылезая, нет, во что-то влезая, жалкие, ничтожные мухи. Но ничего у нее не получалось. Сама она была муха мухой, а другие — стрекозы, бабочки, яркие насекомые, и они танцевали, кружили, порхали, и она, одна-одинешенька, неуклюже выкарабкивалась из блюдца. (Зависть и недоброжелательство, отвратительнейшие из пороков, — вот ее главные недостатки.)

— Я как обтрепанная, жалкая, потертая старая муха, — сказала она, зацепляя Роберта Хейдна этой бедной увечной фразой, только чтоб утвердиться, показать свою независимость, раскованность, непринужденность. И Роберт Хейдн, разумеется, отвечал ей что-то учтивое, вполне неискреннее, и она тотчас раскусила его и, едва он отошел, сказала себе (тоже цитатой откуда-то): «Он *лжет, лжет, лжет*!» [*Шекспир. Ричард II, акт IV, сц. I*] Потому что ведь прием — он все делает гораздо более настоящим или гораздо менее настоящим, решила она; вдруг она увидела самую

душу Роберта Хейдна; она увидела все насквозь. Увидела правду. Вот она, правда — эта гостиная и эта Мейбл, а другая Мейбл — выдумка. Тесная комнатенка мисс Милан была в самом деле ужасно жаркая, затхлая, обшарпанная. Пропахла платьями и капустой; и все же, когда мисс Милан сунула ей в руку зеркало и она оглядела себя в новом, уже готовом платье, у нее сердце зашлось от удивительного блаженства. Залитая светом, она заново явилась на свет. Избавясь от забот и морщин, она стала такой, какой себе мечталась, — красивой женщиной. Секунду, не больше (больше она не решилась, мисс Милан хотела определить длину), обрамленное резным красным деревом, глядело на нее серебристо-белое, таинственно улыбающееся, прелестное созданье — ее суть, душа; и не только из-за тщеславия и самовлюбленности она почла ее доброй, нежной и настоящей. Мисс Милан говорила, что длиннее делать не стоит; вернее, говорила мисс Милан, морща лоб, призывая на помощь все свое соображение, надо, пожалуй, подкоротить; и вдруг Мейбл поняла, честное слово, что она любит мисс Милан, любит мисс Милан гораздо, гораздо больше, чем всех прочих, и она чуть не плакала от жалости, глядя, как мисс Милан ползает у ее ног,

пучком закусив булавки, покраснев и выкатывая глаза, — чуть не плакала оттого, что один человек делает это ради другого, и вдруг ее осенило, что все-все просто люди, и она вот идет на прием, а мисс Милан укрывает клетку кенаря на ночь салфеточкой и дает ему клевать конопляное семечко прямо у нее изо рта, и от этих мыслей про то, как много в человеке покорности и терпения и какими жалкими, бедными, убогими радостями может довольствоваться человек, ей на глаза навернулись слезы.

И вот все пропало. Платье, комната, любовь, жалость, зеркало в резной раме, кенарь в клетке — все пропало, и она стояла в углу гостиной миссис Дэллоуэй, вернувшись к действительности, испытывая адские муки.

Но до чего же глупо, мелкотравчато, ничтожно, и в ее-то годы, имея двоих детей, так зависеть от чужого мнения, пора иметь собственные принципы, научиться говорить, как все: «Есть же Шекспир! Есть смерть! Мы, в сущности, ничтожные мошки» — или что там еще принято говорить.

Она смело глянула в зеркало; клевками пальцев вспушила шелк на левом плече; и пустилась в плавание по гостиной под градом копий, пронза-

ющих ее желтое платье. Но вместо стервозности или трагизма, какие напустила бы тут на себя Роза Шоу — Роза, та бы просто Боадицеей плыла [*Боадицея — королева племени древних бриттов, возглавлявшая восстание против римлян; героиня поэм Теннисона и Каупера*], — на лице у нее были написаны глупость и загнанность, она просеменила по гостиной, как школьница, ссутулясь, чуть не ползком, как побитая дворняга, и уставилась на картину, гравюру. Будто на приемы ходят картинами любоваться! Всем и каждому было ясно, зачем это ей — чтобы скрыть унижение, скрыть свой позор.

«Ну вот муха и в блюдце, — сказала она себе. — На самой середке и вылезти не может, и молоко, — думала она, уперев взгляд в картину, — залепило ей крылышки».

— Ужасно старомодно, — сказала она Чарльзу Бэрту, заставляя его остановиться (чем, конечно, его возмутила) на пути к кому-то еще.

Она имела в виду или ей хотелось думать, что она имела в виду картину, а не свое платье. И одно лишь доброе слово, одно дружеское слово Чарльза все бы могло изменить. Скажи он только: «Мейбл, вы сегодня очаровательны», и вся бы жизнь ее стала другая. Но ведь и ей бы

самой тогда надо было быть прямой и правдивой. Чарльз, разумеется, ничего подобного не сказал. Редкостный злюка. Вечно тебя видит насквозь, особенно когда себя чувствуешь совсем уж мелкой, ничтожной дурой.

— У Мейбл новое платье! — сказал он, и бедную муху снесло на середку блюдца. Ей-богу, ему бы даже хотелось, чтоб она утонула. В нем нет истинной доброты, нет сердца, одна светскость, мисс Милан куда искренней, куда добрей. Надо только раз и навсегда зарубить это себе на носу. «Почему, — спрашивала она себя, чересчур резко ответив Чарльзу, показав, что она не в себе, „в растрепанных чувствах“, как он выразился („В растрепанных чувствах?“ — и отправился над ней потешаться с какой-то дамой в углу), — почему, — спрашивала она себя, — я не могу всегда думать одинаково, зарубить себе на носу, что права мисс Милан, а не Чарльз, помнить про кенаря, и любовь, и жалость и не терзаться страшными муками, входя в переполненную гостиную? А все ее противный, слабый, неустойчивый характер — вечно она пасует в решительную минуту, и она не способна всерьез увлечься конхиологией, этимологией, ботаникой, археологией, разрезать на части клубни картофеля и следить за его пло-

доносностью, как, например, Мери Деннис, как, например, Вайолет Сэрль.

Но тут, видя, что она стоит одна, ее атаковала с фланга миссис Холман. Разумеется, такая мелочь, как платье, не стоила внимания миссис Холман, у которой вечно кто-нибудь падал с лестницы или болел скарлатиной. Не может ли Мейбл ей сказать, будут ли в августе — сентябре сдаваться Вязы? Ох, вот уж это тоска! Не очень приятно, когда тебя используют как жилищного агента или мальчишку-посыльного! Значит, ты мало что стоишь, вот что, думала она, стараясь помнить о серьезном и важном и членораздельно отвечая тем временем про ванные, и вид на юг, и горячую воду; и все время, все время кусочки желтого платья мелькали ей в круглом зеркале, которое всех превращало в пуговки на гамашах и в головастиков; и удивительно было, что такую бездну самокопания, мук, отвращения к себе, потуг, порывов и срывов может вмещать нечто величиною с трехпенсовик. И что еще удивительней — это нечто, эта Мейбл Уэринг была изолирована, совершенно сама по себе; и хотя миссис Холман (черная пуговка) клонилась к ней, говоря о том, как старший ее мальчик перенапряг беготнею сердце, она и ее видела в зеркале совершенно

отгороженной, отделенной, и не верилось, что черное пятно, клонясь и жестикулируя, может передать желтому пятну, отдельному, одинокому, самопоглощенному, свои мысли и чувства, и, однако же, обе они притворялись.

— Да, мальчишек не удержишь на месте, — что тут было еще сказать.

И миссис Холман, обычно не вызывавшая сочувствия и набросившаяся на то, что перепало ей, с жадностью, как бы по какому-то праву (но ей причиталось еще, ибо имелась и дочка, девочка, и явилась сегодня к завтраку с распухшей коленкой), взяла это жалкое подаяние, оглядела подозрительно, недоверчиво, будто ей полпенса подсунули вместо фунта, но спрятала в ридикюль и была вынуждена с ним примириться при всей его скудости, ведь пошли тяжелые времена, очень тяжелые времена; и пустилась распространяться далее — скрипучая, недовольная миссис Холман — о распухших коленках дочки. Ах, это же трагедия, если уж человек так ропщет, поднимает такой шум — как баклан бьет крыльями и вопит, — требуя сочувствия, — да, трагедия, если вправду проникнуться, а не притворяться!

Но в этом своем желтом платье она сегодня не могла больше ни единой капли из себя выдавить;

она сама бесконечно нуждалась в сочувствии. Она знала (она все смотрелась в зеркало, окунаясь всем на обозрение в голубую страшную прозрачную лужу), что песенка ее спета, что она погрязла в болоте — слабое, неустойчивое создание; и ей приходило на ум, что желтое платье — наказание ей по заслугам, а будь она одета как Роза Шоу, в эту дивно облегающую зеленую прелесть с отделкой из лебяжьего пуха, это тоже было бы по заслугам; и выхода не было никакого, решительно никакого выхода. Но ведь, в конце концов, разве она виновата? Их было десять человек в семье; вечно не хватало денег, вечно приходилось жаться, биться; и мама таскала тяжеленные бидоны, и на лестнице протирался линолеум, и они не вылезали из противных передряг — ничего катастрофического, банкротство овцеводческой фермы, но не полное; старший брат делает мезальянс, но не жуткий — ничего романтического, выдающегося. Они честь честью рассеялись по курортам; и теперь еще у нее возле каждого пляжа по тетке, спят мирным сном в снятых комнатах, выходящих не прямо на море. Такая уж у них судьба — вечно на все коситься. Ну а она сама? Мечтала жить в Индии, выйти замуж за какого-нибудь сэра Генри Лоуренса [*Лоуренс,*

сэр Генри, Монтгомери (1806–1857) — английский генерал, убитый при подавлении индийского народного восстания 1857–1859 гг., возвеличенный, в частности, в поэме Теннисона «Защита Лакнау»], героя, строителя Британской Империи (она и сейчас трепещет при виде индийца в тюрбане), и полностью обанкротилась. Вышла замуж за Хьюберта с прочным скромненьким местом в суде, и они кое-как перебиваются в своем жалком домишке, даже без приличной прислуги, на овощном рагу, когда она одна, а то и на хлебе с маслом, но иногда — миссис Холман удалялась, сочтя ее несочувственной, бездушной выдрой и, между прочим, нелепо разряженной, и всем потом собиралась рассказывать, каким чучелом явилась Мейбл на прием, — но иногда, думала Мейбл Уэринг, одна на голубом диване, пощипывая подушку, чтобы не сидеть у всех на виду без дела, потому что ей не хотелось идти к Чарльзу Бэрту и Розе Шоу, которые трещали как сороки и, наверное, смеялись над ней у камина, — иногда выдавались вдруг бесподобные мгновения, недавно, например, когда она читала ночью в постели, или тогда у моря, на солнечном пляже, на пасху — да, так как это было? — тугой пук прибрежных седых трав копьями нацеливался

на небо, и оно было синее, как синий однотонный фарфор, такое гладкое и твердое, и потом эта песенка волн — шш — пели волны, и плескались детские голоса — да, это было дивное мгновение, и она лежала как на ладони у богини, которая была — весь мир; жестокой, но прекрасной собою богини; агнец, возложенный на алтарь (какие только не приходят в голову глупости, но ничего, лишь бы их вслух не произносить). И с Хьюбертом тоже, вдруг нежданно-негаданно — когда, например, разделывала баранину к тому воскресному завтраку, ни с того ни с сего, когда распечатывала письмо, входила в комнату — выдавались божественные мгновения, и она говорила сама себе (больше никому ведь такое не скажешь): «Вот оно. Не отнимешь. Вот!» И что интересно — иногда все так складно: музыка, погода, каникулы, кажется, радуйся — и ничего. Радости нет. Просто скучно, пусто, и все.

Тоже, конечно, из-за ее собственной никудышности! Она раздражительная, бестолковая мать, бесхарактерная жена, и она влачит серую, неинтересную жизнь, ни к чему не стремится, не умеет настоять на своем, как все ее братья и сестры, кроме, может быть, Герберта, — ни на что не способные размазни. И вдруг среди всей этой

тягомотины у нее дух захватывает от высоты. Никудышная муха — и где она читала эту историю, которая из головы не выходит? — выкарабкивается из блюдца. Да, бывают такие мгновения. Но уже ей сорок, они будут все реже и реже. Постепенно она перестанет карабкаться. Но ведь это ужасно! Это непереносимо. Это стыдно в конце концов!

Завтра же она отправится в Лондонскую библиотеку. Нападет на прекрасную, душеспасительную, дивную книгу какого-нибудь священника, американца, о котором никто не слыхал; или она пойдет по Стрэнду и случайно окажется в зале, где шахтер рассказывает о жизни в шахте, и вдруг она станет другим человеком. Совершенно преобразится. Будет ходить в форме; называться сестра Такая-то; в жизни больше не станет думать о тряпках. И раз навсегда запомнит про Чарльза Бэрта и мисс Милан, про ту комнату и эту; и день за днем, всегда, все будет так, как когда она лежала на солнце или разделывала баранину. Так и будет!

Она поднялась с голубого дивана, и желтая пуговка в зеркале дернулась, она помахала Чарльзу и Розе, чтоб показать, что совершенно в них не нуждается, и желтая пуговка оторвалась от зер-

кала, и все копья сразу вонзились ей в сердце, когда она подошла к миссис Дэллоуэй и сказала: «Спокойной ночи».

— Уходите? — сказала миссис Дэллоуэй.

— Мне, пожалуй, пора, — сказала Мейбл Уэринг. — Но я, — прибавила она своим слабым, бесхарактерным голосом, который делался только смешным, когда она пыталась придать ему вескости, — я очень, очень приятно провела вечер.

— Я очень приятно провела вечер, — сказала она мистеру Дэллоуэю, встретив его на лестнице.

«Лжет, лжет, лжет!» — стучало у нее в голове, когда она спускалась по лестнице, и «В самой середке блюдца» — стучало у нее в голове, когда она благодарила миссис Барнет, помогавшую ей одеться, и куталась, куталась, куталась в мантильку, которую носила последние двадцать лет.

Фазанья охота

Она вошла, положила на полку чемодан и поверх — связанных парой фазанов. И села в углу. Поезд грохотал по каким-то глухим местам, с нею вместе в вагон ввалилась мутная мгла и словно его расширила, далеко разбросав по углам четырех пассажиров. Очевидно, М.М. (так свидетельствовала чемоданная наклейка) провела выходные с охотниками. Очевидно, ибо, откинувшись на спинку сиденья, она пересказывала теперь свою повесть. Она не закрыла глаза. Но, конечно, она не видела ни господина напротив, ни Йоркского собора на цветной фотографии. И наверное, она еще слышала умолкшие голоса, потому что сидела, пристально уставясь перед собою, и губы ее шевелились; иногда она вдруг улыбалась. И она была миловидна; махровая роза; наливное яблочко; румяная; но со шрамом на щеке — шрам растягивался, когда она улыбалась. Судя по этой повести, она провела выходные с охотниками в качестве гостьи, но одета она была старомодно, так, как были одеты женщины на давних-давних картинках в спортивных газетах,

и, значит, едва ли она была гостья, но, пожалуй, и не служанка. Будь у нее в руках корзина, она сошла бы за женщину, разводящую фокстерьеров; за хозяйку сиамской кошки; за кого-то, кто связан с лошадьми и собаками. Но у нее были только чемодан и эта пара фазанов. Каким-то образом, стало быть, она, вероятно, проникла в комнату, проступившую сквозь вагонные декорации, голову лысого господина, Йоркский цветной собор. И очевидно, она слушала, что там говорят, потому что вот она — так, как делают, передразнивая кого-то еще, — легонько крякнула: «Кх». И потом, она улыбалась.

— Кх, — сказала мисс Антония, поправляя на носу очки. За стрельчатыми окнами галереи проплывали мокрые листья; некоторые приникали рыбками к стеклам, да так и оставались на них, как инкрустации темного дерева. Потом по Парку шла дрожь, и парящие листья делали эту дрожь видимой — мокрой и темной.

— Кх. — Мисс Антония крякнула снова и щипнула что-то тончайшее, белое, что держала в руках, так курица быстро и нервно щиплет кусочек белого хлеба.

Вздыхал ветер. Сквозняк гулял по комнате. Двери были плохо пригнаны, окна тоже. То и дело

зыбь пробегала ящерицей по ковру. Солнце бросило на ковер зеленые и желтые плети, потом оно сдвинулось, уставило назидательный палец в дыру на ковре и снова застыло. А потом он потянулся вверх, слабенький, но непререкаемый палец, и выделил над Камином — озаренным смутно — щит, висящие гроздья, русалку и копья — герб. Мисс Антония подняла глаза. Землями они владели обширными, говорили, — предки, ее праотцы, Рашли. Там, по Амазонке. Мореплаватели. Флибустьеры. Мешки изумрудов. Обрыскивали острова. Брали пленников. Дев. Ишь вся в чешуйках, хвостатая. Мисс Антония усмехнулась. Солнечный палец дернулся и опустился, она потянулась за ним взглядом. Он остановился на серебряной раме; то была фотография; лысеющее темя яйцом; выпирающая под усами губа; и снизу подпись — Эдуард, с пышной завитушкой.

— Король, — бормотнула мисс Антония, поворачивая белую дымку у себя на коленях. — Спал в Синей комнате, — добавила она и дернула головой, следя за поблекшим лучом.

В Королевской Аллее фазанов гнали под ружейные дула. Тяжко выбрасывались они из подлеска ракетами, рдяными ракетами, и ружья трещали по очереди, весело, звонко, будто вдруг

заливалась лаем свора собак. Пучки белого дыма мгновенье медлили в воздухе, потом нежно расползались, блекли, таяли.

На дороге, глубоко врезавшейся в лесистый отвес, уже стояла телега, нагруженная теплыми тушками; коготки были расправлены, и блестели глаза. Казалось, птицы еще живые, только обморочно обмякли под пышными мокрыми перьями. Будто отдыхают, будто спят на теплой насыпи мягких перьев, чуть подрагивая во сне.

И тогда Помещик с перепачканным, страшным лицом, в потертых гетрах чертыхнулся и взвел курок.

Мисс Антония шила. Пламя вдруг лизало одно из поленьев, вытянувшихся вдоль решетки, жадно глодало его и гасло, оставя серый браслет на месте выеденной коры. Мисс Антония поднимала взгляд, смотрела пристально, пусто, как смотрит на огонь собака. Пламя опадало, и она снова шила.

И тогда — бесшумно — распахнулась огромная дверь. Вошли двое тощих мужчин и поставили стол на ковер, на то место, где была дыра. Они вышли; вошли. Расстелили по столу скатерть. Они вышли; вошли, Внесли ножи и вилки в корзине, обитой зеленым сукном; и бокалы; и са-

харницы; и солонки; и хлеб; и серебряную вазу с тремя хризантемами. И стол был накрыт. Мисс Антония шила.

Дверь теперь уже не распахнулась, но отворилась тихонько. Вбежала собака, чутко внюхивающийся спаниель; и замер. Дверь осталась открытой. И вот, опираясь на палку, тяжко ступая, вошла старая мисс Рашли. Белая шаль, закрепленная бриллиантовой брошью, окутывала ее лысую голову. Она еле шла; она одолела комнату; дугой согнулась в высоком кресле подле огня. Мисс Антония продолжала шить.

— Стреляют, — наконец сказала она.

Старая мисс Рашли кивнула. Сжала в кулаке палку. Обе сидели и ждали.

Охотники перешли уже из Королевской Аллеи к Ближним Рощам. Остановились на фиолетовой пашне. Хрустели сучья; кружили листья. И над туманом и дымом островок синевы — нежной синевы, разбавленной синевы — одиноко плавал в высоком небе. И по беспамятному воздуху заигравшимся херувимом, резвясь, куролеся, пробежался одинокий звон дальней, невидимой колокольни — пробежался и замер. И снова вверх, вверх взметнулись ракеты, взметнулись рдяные фазаны. Еще, еще. Снова тявкали ружья; дым-

ные шары повисали в воздухе; расплывались, таяли. И маленькие собачки, чутко внюхиваясь, носились по полям; и люди в гетрах связывали парами нежные тушки, теплые, словно обморочные тельца, и швыряли в телегу.

— Ну вот! — сказала Милли Мастерс, экономка, и сняла очки. Она тоже шила в темной комнатушке, окнами на конюшенный двор. Фуфайка, грубая шерстяная фуфайка для сынка, мальчишки, убиравшего церковь, была наконец готова. — И вся недолга! — пробормотала она. Потом она услышала телегу. Хруст колес по камням. И встала. Придерживая руками волосы, свои русые волосы, она стояла на дворе, на ветру.

— Идут! — Она засмеялась, и шрам растянулся у нее на щеке. Она сняла тяжелый болт с двери кладовой, и Винг, лесник, ввез по камням телегу. Птицы теперь уже были мертвые, они цепко сжимали коготки, сжимали пустоту. Веки собирались над глазами в серые складки. Миссис Мастерс, экономка, и Винг, лесник, брали связанных птиц за шейки и бросали на каменный пол кладовой. Пол был в кровавых подтеках и пятнах. Фазаны стали как-то меньше, будто съежились под опереньем. Потом Винг откинул задний борт телеги и вогнал штыри, которые его закрепляли. Боковые

борта были облеплены синеватыми перьями, дно перемазано кровью. Но телега была пуста.

— Все, сердешные! — усмехнулась Милли Мастерс, и телега загрохотала прочь.

— Кушать подано, ваша милость, — сказал дворецкий. Он кивнул на стол; дал указания лакею. Лакей поместил блюдо под серебряной крышкой в точности где ему было велено. Оба ждали, лакей и дворецкий.

Мисс Антония отложила белое, воздушное шитье; отложила нитки; наперсток; воткнула иглу в кусочек фланельки; и повесила очки на крючок у себя на груди. Потом она поднялась.

— Кушать! — рявкнула она в ухо старой мисс Рашли. Секунду спустя мисс Рашли выбросила вперед одну ногу; сжала палку; и тоже поднялась. Обе старухи медленно прошествовали к столу. И были усажены лакеем и дворецким по одну его сторону и по другую. Вспорхнула серебряная крышка. Под ней лежал фазан, голый, блестящий; с тесно прижатыми к бокам ножками; и обложенный кучками сухарей.

Мисс Антония твердо вонзила нож в фазанью грудь. Отрезала два кусочка и положила на тарелку. Лакей ловко ее выхватил, и мисс Рашли воздела свой нож. За окном раскатились вы-

стрелы.

— Идут? — сказала старая мисс Рашли, забыв на весу вилку.

Деревья Парка широко махали ветвями.

Она откусила кусочек фазаньего мяса. Листья с шелестом задевали за стекла; некоторые налипали на них.

— Уже в Ближних Рощах, — сказала мисс Антония. — Хью их спустил. Свое поохотился. — Она вонзила нож в другую сторону грудки. Тщательно, кружком раскладывала она на тарелке картошку с подливкой, брюссельскую капусту под белым соусом. Дворецкий с лакеем смотрели внимательно, как служители на пиру. Старые дамы ели медленно; молча; они не спешили; они тщательно обгладывали птицу. На тарелках оставались одни косточки. Потом дворецкий подвинул мисс Антонии штоф и мгновение медлил, склонив голову.

— Дайте сюда, Гриффитс, — сказала мисс Антония, взяла в руки скелетик и кинула под стол спаниелю. Дворецкий с лакеем поклонились и вышли.

— Совсем рядом, — сказала мисс Рашли, прислушиваясь. Ветер усилился. Парк била темная дрожь, листья срывались уже вихрями, не задер-

живались на стеклах. Окна гремели.

— Птичий переполох. — Мисс Антония помотала головой, глядя на всю эту кутерьму.

Старая мисс Рашли наполнила свой бокал. Обе потягивали вино, и глаза у них засияли, как сияют полудрагоценные камни на свету. Сизо-синие стали глаза у мисс Рашли; у мисс Антонии — красные, как вино. А кружева и оборки будто подрагивали, пока они пили, будто тела у них теплые и вялые под опереньем.

— Был вот такой же день, помнишь? — сказала старая мисс Рашли, вертя свой бокал. — Его принесли домой — с пулей в сердце. Сказали, куст. Оступился. Свалился. — Она хохотнула, потягивая вино.

— А Джон… — сказала мисс Антония. — Сказали, кобыла. Попала копытом в яму. Умер на месте. Над ним пронеслась охота. Тоже домой вернулся — на ставне… — Они снова потягивали вино.

— Лили помнишь? — сказала старая мисс Рашли. — Дрянь женщина. — Она помотала головой. — В седло влезала с красной кисточкой на стеке.

— Ни стыда, ни совести! — рявкнула мисс Антония.

— Письмо полковника помнишь? Ваш сын

несся как одержимый, увлекая за собой людей. И один белый мерзавец… Эхма! — Она снова пригубила свой бокал.

— Мужчины в нашем роду… — начала мисс Рашли. Она подняла бокал. Она держала его высоко, словно предлагала тост лепной русалке над камином. И запнулась. Тявкнули ружья. Что-то хрустнуло в лесу. Или это крыса метнулась за лепниной?

— Вечно женщины. — Мисс Антония кивнула. — Да, мужчины в нашем роду. Эта белая, румяная Люси с мельницы, помнишь?

— Дочка Эллен из «Козла и Серпа», — подхватила мисс Рашли.

— А портнова дочка, — бормотала мисс Антония. — Хью покупал у них бриджи, в темной лавчонке на том берегу…

— …их еще затопляло каждую зиму. Это ведь его мальчишка, — мисс Антония фыркнула, перегибаясь к сестре, — который церковь убирает.

Грянул грохот. В дымоход рухнула шиферная плитка. Огромное полено раскололось надвое. Комья гипса посыпались с герба на ковер.

— Рушится, — фыркнула старая мисс Рашли. — Рушится.

— А кто, — сказала мисс Антония, озирая комья

на ковре. — Кто расплачиваться будет?

Пуская пузыри, как два дряхлых младенца, тупо, пусто обе захохотали; перешли к камину и потягивали шерри подле комьев штукатурки и пепла, пока в каждом бокале не осталось пылать всего по одной красной капле на донышке. Им не хотелось, кажется, совсем расставаться с вином; сидя рядышком у засыпанного камина, они вертели в руках бокалы, но не подносили к губам.

— Милли Мастерс, ключница-то наша, — начала старая мисс Рашли. — Она ведь нашего брата…

Выстрел тявкнул под окном. И перебил ниточку, на которой держался ливень. Он обрушился на окна, он хлестал их ровными розгами. Свет на ковре погас. И глаза у старух погасли. Они сидели, вслушивались, и глаза у них стали как вытащенная из воды галька: скучные, серые, сухие окатыши. И руки вцепились в руки как птичьи коготки, вцепившиеся в пустоту. И обе стали меньше, словно тела у них съежились под платьями.

Потом мисс Антония потянулась бокалом к русалке. Оставалась последняя капля; она ее выпила. «Идут!» — каркнула она и стукнула об стол бокал. Грохнула брошенная с размаху дверь.

Другая. Еще. По коридору к галерее близились тяжкие, но шаркающие шаги.

— Рядом! Рядом! — Мисс Рашли усмехнулась, оскалив три желтых зуба.

Распахнулась гигантская дверь. Ворвались три огромных пса и, задыхаясь, замерли на пороге. Потом, горбясь, вошел сам Помещик в потертых гетрах. Псы прыгали на него, дергали мордами, обнюхивали его карманы. Потом кинулись вперед. Учуяли мясо. От кипенья хвостов и спин галерея ходуном ходила, как лес под хлыстом ветра. Они обнюхивали стол. Рвали лапами скатерть. И вот с визгом и воем бросились на рыженького спаниеля, который глодал фазаний скелет под столом.

— Проклятье! Проклятье! — взревел Помещик. Но голос был тусклый, будто надломленный встречным ветром. — Проклятье! Проклятье! — орал он, проклиная уже сестер.

Мисс Антония и мисс Рашли вскочили на ноги. Огромные псы схватили спаниеля. Они терзали его, хватали желтыми клыками. Помещик махал, махал ременной плеткой, клял собак, клял сестер, а голос был у него громкий, но тусклый, дальний. Удар — и он смахнул на пол вазу с хризантемами. Еще — и он огрел по щеке мисс Рашли. Старуха за-

прокинулась навзничь, задела каминную доску. Палка, дико взметнувшись, ударила по щиту на гербе. Мисс Рашли с глухим стуком упала в золу. Герб Рашли сорвался со стены. Мисс Рашли лежала погребенная — под копьями, под русалкой.

Ветер стегал по стеклам; залп прокатился по Парку, упало дерево. И тогда-то король Эдуард в серебряной раме дрогнул, опрокинулся и тоже упал.

В вагоне сгустился серый туман. Болтался как занавес: он словно разбросал по углам пассажиров далеко друг от друга, хотя в действительности они сидели совсем близко, как и положено сидеть пассажирам в вагоне третьего класса. И странное дело. Миловидная, хоть и немолодая женщина, в приличном, хоть и потертом платье, которая вошла в вагон на какой-то глухой станции, словно утратила очертанья. Тело ее обратилось в туман. Только глаза блестели, менялись и жили как бы сами по себе: глаза без тела; глаза, видевшие то, что не видно другим. Они сияли в промозглом воздухе, они блуждали, и в могильной атмосфере вагона — окна запотели и на лампах были мглистые венчики — они были как пляшущие огоньки, как блуждающие огоньки, которые, люди говорят, пляшут над могилами тех, кто спит

неспокойно на кладбище. Нелепая мысль? Пустая фантазия! И однако же, раз ничто не кончается без осадка, а наша память — это пляшущий в уме огонек, когда прожитое погребено, быть может, и эти глаза, сияющие, блуждающие, — дух семьи, дух эпохи, культуры, пляшущий над могилой?

Поезд замедлил ход. Фонари вытянулись и замерли. Надломились. И снова вытянулись, когда поезд вкатил в вокзал. Фонари пылали. Ну а глаза в углу? Они закрылись. Быть может, от слепящего света. И разумеется, в слепящем свете вокзальных огней стало совершенно ясно — это самая обычная, очень немолодая женщина приехала в Лондон по какой-то самой обычной надобности — что-нибудь связанное с кошкой, или с лошадью, или с собакой. Она потянулась за чемоданом, встала и сняла с полки фазанов. И все же разве, открыв дверь вагона и сходя на перрон, не крякнула она «кх, кх» на ходу?

Итог

В людных залах стало душно, и в такую ночь не рискуешь промочить ноги, и китайские фонарики казались красными и зелеными плодами в чащобе очарованного леса, — и потому Бертрам Притчард повел миссис Лейзем в сад.

Воля и свежий воздух кружили голову Саше Лейзем, высокой, красивой, несколько ленивой на вид даме, такой величавой наружности, что никто и вообразить не мог усилий и смятения, каких ей стоило каждое произносимое на людях слово. Тем не менее дело обстояло именно так; и она радовалась, что она с Бертрамом, который и в саду явно будет болтать без умолку. Записать все его слова — и получилось бы несусветное что-то — не только мало смысла было в каждом частном замечании, но и сильно хромала логика. Ей-богу, если взять карандаш да и записать его речь дословно — а за один вечер он наговаривал на целый роман, — всякий, осилив все это, без сомнения пришел бы к выводу, что бедняга положительно спятил. Меж тем, совершенно даже напротив, мистер Притчард был почтенный

государственный служащий и кавалер ордена Бани; и еще более непостижимо — он почти всем без исключения нравился. Самый звук его голоса, модуляции, некий блеск несуразности, некая эманация сдобной смуглой физиономии и дутой голубиной фигуры — нечто нематериальное и неуловимое имело место, цвело, побеждало и убеждало независимо от его речей и частенько им вопреки. Так, вероятно, думала Саша Лейзем, пока он болтал про свою поездку в Девоншир, про гостиницы, пледы, про Теда и Фреда, про коров и ночные маршруты, про мороженое и про звезды, про европейские вокзалы и про Брэдшо, рестораны, туманы, инфлюэнцу, Ниццу и Китса, — она думала о том, что, в сущности, хорошо, что на свете живет такой человек, и под его болтовню она создавала образ Бертрама, ничуть не похожий на его болтовню, но он именно и отражал истинную суть Бертрама Притчарда, хотя доказать это было немыслимо. Ну как станешь доказывать, что он верный друг, и он благодушен, и — но тут, как часто с ней бывало, когда она беседовала с Бертрамом, она забыла о его существовании и стала думать о другом.

Ночь — вот о чем она стала думать, когда вдруг, словно встряхнувшись, глянула в небо. И на

нее пахнуло духом полей, тихих и грустных под звездами, но здесь, в саду у миссис Дэллоуэй, в Вестминстере, эта прелесть особенно тронула ее, рожденную и выросшую в деревне — по контрасту, быть может; запах сена, когда рядом набитые людом комнаты. Она выступала подле Бертрама оленьей, пожалуй, походкой, чуть пружиня при каждом шаге, обмахиваясь веером, величавая, бессловесная, едва дыша, навострив уши, вбирая ноздрями воздух, как дикий, но весь подобравшийся зверь, впитывающий радость ночи.

Вот, она думала, величайшее из чудес; высшее достижение человечества. Там, где утлый челн пробирался топью под тальником — вот вам, пожалуйста; и она думала про строгий, крепкий, красиво сложенный дом, набитый ценностями, жужжащий как улей, где люди расходятся, сходятся, обмениваются мнениями, спорят. И Кларисса Дэллоуэй его открыла просторам ночи, вымостила трясину, и когда они с Бертрамом дошли до конца сада (оказалось, он очень маленький) и сели в шезлонги, она глянула на дом с почтением, с замиранием сердца, словно золотая стрела пронзила ее, исторгнув благодарные слезы. Хотя по своей стеснительности она обычно слова из себя

не могла выдавить, когда ее с кем-нибудь знакомили врасплох, ужасно застенчивая, она глубоко восхищалась другими людьми. Было бы дивно вдруг оказаться кем-то из них, но, обреченная оставаться собою, она могла только молча, вот так, из сада, издали восторгаться обществом тех, к кому ей не было доступа. Хотелось превозносить их вслух в испытанных строфах; они были добры, прекрасны и вдобавок отважны, покорители ночи и топей, искатели подвигов, обложенные опасностью и прокладывающие путь среди бурь.

По злой прихоти судьбы она не могла к ним присоединиться, зато могла их славить под трескотню Бертрама, который ведь тоже участвовал в плавании — юнга, матрос, кто-то, кто лазит по мачтам и весело свищет. Тем временем ветка вяза напротив, пропитавшись ее восхищением теми, кто в доме, истекала золотой капелью; потом распрямилась, как часовой. То была принадлежность бражного пира — мачта, с которой струился флаг. У стены стояло ведро, она и перед ним не осталась в долгу.

Вдруг Бертрам, которому, как всегда, не сиделось, решил обследовать местность и, взгромоздясь на груду кирпича, выглянул за ограду. Саша тоже выглянула. Она увидела ковш или, возмож-

но, лебедку. Мгновенно чары развеялись. Рядом снова был Лондон; просторный, безличный, безразличный мир; автомобили; дела; фонари возле пивных; и зевающие полисмены.

Удовлетворив любознательность и пополнив за минуту молчания бурлящий источник своей болтовни, Бертрам пригласил мистера и миссис Таких-то посидеть с ними рядом и придвинул еще два шезлонга. И вот они опять сидели и смотрели на тот же дом, тот же вяз, то же ведро; только, глянув за этот забор и увидев этот ковш, а скорее Лондон, как ни в чем не бывало занятый своими делами, Саша не могла уже окутывать мир золотым облаком. Бертрам болтал, а Такие-то — она, убей бог, не могла вспомнить, как они назывались: Уоллесы, Фримены? — отвечали, и каждое слово пробивало тонкое золотое марево и попадало под прозаический луч. Она смотрела на строгий, прочный дом в стиле королевы Анны; она изо всех сил старалась вспомнить, что проходила в школе про Тернистый Остров, челны, устриц, туманы и уток, но уже ей сдавалось, что все это — дело дренажных рабочих и плотников, а нынешнее сборище — люди в вечерних туалетах, не более.

Потом она спросила себя — какой же взгляд

истинный. Можно взглянуть ведь на дом и на ковш и так и эдак.

Она поставила этот вопрос перед Такими-то, которых по скромности наделяла силой и мудростью других людей. Ответы, бывает, приходят случайно; так отвечал на вопросы ее старик спаниель, движеньем хвоста.

И вот вяз, лишась позолоты и великолепия, как будто снабдил ее ответом; стал деревом вне оград, на просторе, единственным на болоте деревом. Она его видела часто; видела красные опаленные облака, перечеркнутые его ветвями, и ломкие серебристые лунные стрелы. Да, но что же ответ? Ах да, что душа — Саша чувствовала, как какое-то существо бьется внутри, ищет выхода, и тотчас его назвала душою, — что душа по природе одиночка, вдовая птица; птица, отрешенно и высоко угнездившаяся на вязе.

Но тут Бертрам, поддев ее под локоть, довольно, впрочем, небрежно, ведь он знал ее с детства, заявил, что они нарушают свой долг и пора идти в дом.

И тогда где-то, на глухой улице, или это в пивной, прокатился знакомый, страшный голос, бесполый и мутный, стон, вопль. И вдовая птица, вспугнутая, улетела прочь, описывая круги, все

шире, шире, пока то, что она называла своею душою, не стало дальним, как ворона, ухнувшая вверх от нацеленного в нее камня.